

The background of the book cover features a sunset or sunrise scene. The sky transitions from a pale blue at the top to a warm orange and yellow near the horizon. Silhouettes of bare, leafless tree branches are visible in the foreground, particularly on the left side. A solid orange rectangular box is centered on the page, containing the author's name and the title.

НАТАЛЬЯ РОСИНА

НЕБЛАГОНАДЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

16+

# Наталья Росина

## Неблагоденственный человек

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=48650174](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48650174)*

*SelfPub; 2019*

### Аннотация

Послевоенные пятидесятые годы. В атмосфере растущего антисемитизма страну захлестнула очередная идеологическая компания, грозящая глобальной чисткой еврейского населения. Коснулась она и ученого сословия. Из образовательных учреждений потоком пошли «сигналы» о засилье космополитов на всех уровнях системы просвещения...

*Для оформления обложки использовано фото, сделанное мною лично! На сайтах в интернете данное фото мною не размещалось!*

Подвода лениво тащится по разбитой проселочной дороге, тарактя и подскакивая на ухабах. Сидящий в ней щуплый человек средних лет уныло глядит на опустевшие скошенные поля, крепко прижимая к груди старенький потертый портфель. Кругом одна пахота да пустота, лишь изредка попадаются жидкие перелески, с наполовину пожелтевшими деревьями. По выжженной солнцем степи гуляет уже осенний ветерок. Тоскливо шелестит сухая ломкая трава у обочины, да раз-другой вскрикивает степная птица. Седок с головой кутается в клетчатый плед. Выглядит он человеком надломленным и потерянным. На каждой ухабине его и без того страдальческое лицо корчится в мученьях.

Возчик нетерпеливо дергает вожжи, понукая уставшую лошадь: «Ну-ка, родимая, пшшла!». Кобыла, ощерив желтые зубы, лениво взмахивает облепленным репьями хвостом, но шагу не прибавляет.

– Таким Макаром и до вечера не доберемся, – сплевывает в сердцах возчик. Зовут его Федором. Мужик он крепкий, плечистый. В тесном, не по размеру, выцветшем пиджаке и засаленной фуражке. Федору томительно волочиться двадцать верст по разъезженной дороге, да еще и со скучным попутчиком.

– Эх, на Орлике бы с ветерком тебя домчал! – затевает со

скуки разговор Федор. – Не подвезло тебе, учитель, с лоша-  
дью. В такую-то пору все годные кони в обозе. Пока година  
стоит нужно успеть овощ с поля вывезти. Так что не обес-  
судь за такую кобылку. Хворая она. Того и гляди издохнет.  
Как пить дать!

Из-под пледа вырывается тяжелый вздох. Седока здорово  
растрясло. Его внутренности выплясывают так, что кажется,  
вот-вот выпрыгнут наружу. Федор оборачивается и смотрит  
сочувственно на ужавшегося в подводу человека.

– Ты бы большеенько соломки под себя подмости, – про-  
являет заботу возчик, – а то бьешься о доски мослаками. Так  
без привычки всю душу вытреплет. Мяса на тебе вовсе нету.  
Отошальный, как весенний заяц. Что ж вы, городские, хлиб-  
кие-то такие? Ужели мы вас мало кормим? Считай, весь кол-  
хозный урожай город забирает. А нам что? Трудодни. На них  
новых чебот не купишь. Эти, гляди, уже никуды не годят-  
ся. – Федор вытягивает перед собой ноги, демонстрируя из-  
ношенные до дыр кирзовые сапоги. – Такая от наша мужиц-  
кая жисть. – Жалуется он, глядя на растянувшиеся у гори-  
зонта длинные скирды соломы. – Колхозное продовольствие  
дочиста сдай, так еще и с каждого двору или дай, или вы-  
рвут. Одних только яиц по пятнадцати десятков, да почти по  
три пуда убоины взято... и молоко, и шкуру – все подчистую  
отдай...

Седок всю дорогу молчит. Живым бы только доехать. Он  
то и дело аккуратно промокает лоб, щеки и подбородок бе-

лым платочком. Когда, бывает, расстраивается или переживает, всегда потеет. Приходится часто утираться. Для этой надобности в портфеле у него имеется большой запас свежих носовых платков.

– Какой-то ты несловоохотливый, учитель, – пробует растормошить попутчика Федор. – Запомню, как тебя по ба-тющке-то будет? Ненашенское вроде отчество.

– Авдонович... – неохотно отвечает попутчик.

– Это батьку-то как звали? Авдоном что ли?

– Авдоном.

– И вправду ненашенское.

Кузьма Авдонович обиженно вздыхает. Напоминание о пятой графе в его паспорте цепляет за живое. «Эх, деревенщина, – мысленно отбивается он, – знал бы ты, какая мне самому конфузность от этого, как ты обидно выразился, «ненашенского» отчества. Похлестче твоих дырявых сапог. Только вот до твоей прохудившейся обуви никому никакого дела нет, а до моего горбатого носа претензий о-го-го. Больше, чем репьев на хвосте твоей кобылы. Ясное дело – жид! Неблагонадежный, так сказать, человек! Хотя, что лично я сделал плохого советской власти? Живу, как прошлогодняя трава, тихо и примято. Эх, Ларион Павлович, чернильная ты душа... – вспоминает он нахрапистого человека из обкома с блестящей, как глазированный пряник, лысиной, – как же вот так... без всякой причины усрать ...».

– По причине хочешь? Нарисуем тебе причину! – кричит обкомовский партбосс, шлепая жирными как студень губами. – Так и напишем: «агитировал студентов против советской власти...».

Кабинет секретаря обкома просторный, с огромными окнами и тяжелыми бордовыми порттьерами. На стенах, как и положено, в рамках мудрые лица кумиров. Темно-зеленая поверхность стола завалена исписанными бумагами. Он что-то ищет, копошась толстыми куцыми пальцами в растрепавшихся кипах постановлений, резолюций и указов.

– Ненужно, прошу вас..., – испуганно лепечет Кузьма Авдонович, прикладывая к взмокшему лбу белый платочек, – я же не агитировал...

– А, может, и агитировал! Кто тебя знает? – Ларион Павлович угрожающе приподнимается из-за стола, заслонив своим массивным телом, висевший за его спиной портрет вождя. – Неблагоденственный вы, жида, народишко. Или продадите, или предадите. Кем был твой папаша? Помнишь?

– Галантерейщиком...

– Вот видишь, нетрудовым элементом. А значит, ты лицо нетрудового происхождения. И тебе не место в заведении, где учатся дети трудового народа.

Кузьма Авдонович, боясь взглянуть в тяжелое лицо партбосса, рассеяно рассматривает барахтающуюся в чернильнице муху.

Ларион Павлович опирается об стол большими кулачища-

ми, приминая бумаги. Наступает пауза. «Ж-ж-ж», – жужжит отчаянно муха, плавая на поверхности чернил.

– Отдельную республику устроить захотели? Так вам ее устроят где-нибудь в медвежьем углу! – Снова взрывается он. – Крым захотели? А вот вам Крым! – Он ударяет кулаком по столу с такой силой, что подпрыгивает чернильница.

Кузьма Авдонович судорожно сглатывает, послабляя тонкими пальцами узелок галстука. Он понимает, что возражать, не только бессмысленно, но и опасно. Потому молчит.

– Ладно, – Ларион Павлович успокаивается, – на первый раз партия тебя прощает. В селах учителей не хватает. Так что считай, что тебе повезло. Поедешь крестьянских детишек обучать, профессор. И чтобы там без всяких... Будешь в чем замечен – ответишь по всей строгости.

– А как же мое научное исследование? – робко интересуется Кузьма Авдонович, решив, что буря миновала. – Как оставить незаконченным?

– Что? – на воловьей шее Лариона Павловича взбухают вены. – Какое, в лысого, исследование? Волчий билет захотел?! Убирайся, пока я не передумал.

«Неблагоденный человек! Вон оно как!», – обиженно лепечет Кузьма Авдонович, бредя по темному коридору. Шаги медленные, нетвердые, усталые. Под ногами жалобно стонут пересохшие половицы. В институтском коридоре пусто. Только этажом выше гремят ведрами уборщицы. «Трюх-

трюх-трюх...» – отдает глухим эхом. Шаги замирают возле двери с табличкой: «профессор К.А. Катц». Вот и его кабинет. Теперь уже бывший. Дверь не заперта. Из-под нее выбивается узкая полоска желтого света.

– Это ты здесь, Барух? – спрашивает из-за двери профессор.

– Я, – слышится из глубины комнаты.

Кузьма Авдонович входит, плотно прикрывая за собой дверь. Бессильно опускается на стул, не выпуская из рук портфеля. Напротив него за письменным столом сидит его помощник, коренастый человек с круглой курчавой головой.

– Что? – смотрит ожидающе Барух, отложив в сторону толстую папку и сдвинув на нос очки.

Катц молчит.

– Уволили?

– Уволили.

– Вы шестой за эту неделю, профессор.

– А тебя еще не вызывали?

– Вызовут.

– Думаешь, не остановятся?

– Думаю, это только начало... ходят разговоры о массовой депортации в Сибирь или на Дальний Восток.

– Может, это только слухи?

– Может и слухи. А еще, говорят, на окружной железнодорожной станции скопление военных эшелонов.

– Да ну... – не верит Катц, – чтобы вот так целые составы



загрузить живыми людьми? Одно дело по-тихому в кабинетах поодиночке давить, а другое – массово вывезти. Не так-то просто. Для этого закон нужен.

– Для депортации татар никакого закона не потребовалось...

– Так тогда же военное время было. Их-то за связь с врагом...

– А нас, как вы думаете, за что не любят?

– Не знаю, – сдвигает плечами Катц.

– Мне тут одна глупость в голову пришла, – улыбается

Барух. – Может, это все от зависти?

– Какой зависти? – не понимает профессор.

– Среди евреев дураков меньше. Как-то спрашивают у старого Мойши, почему у него нос такой большой, а тот отвечает, что он у него весь наружу, чтобы для мозгов в голове больше места было.

– Да, действительно, глупость, – поднимается со стула Катц.

Он подходит к своему письменному столу. Выдвигает поочередно ящики. Извлекает из них тетради, листы исписанной бумаги, папки, и как попало запихивает их в портфель.

– Куда вы теперь? – с меланхолией в голосе спрашивает Барух?

– В колхоз, крестьянских детей обучать, – отвечает Катц.

– Полукровкам преференция? – шутит помощник. – Профессора Хафеца и еще четверых с волчьими билетами уво-

лили. Считайте, вам крупно повезло. К тому же крестьяне менее предрасположены к юдофобии. А вот в рабочей среде это процветает. На днях на сахарном заводе рабочего-еврея забили до полусмерти. Слышали?

– Нет, не слышал, – Катц продолжает лихорадочно набивать портфель, опустошая ящики стола.

Барух флегматично наблюдает, как профессор возится с бумагами, пытаясь их втиснуть в уже довольно раздувшийся портфель.

– И зачем вам все это теперь?

– Как зачем? – Катц силится застегнуть набитый до отказа портфель. – В этих бумагах вся моя жизнь. Кстати, где синяя папка с результатами последних лабораторных исследований?

– Так забрали папку, Кузьма Авдонович. Как только вы ушли.

– Так я и знал, – он удрученно опускается на стул, – так я и знал, – нервно хрустит костяшками пальцев.

С минуту сидит, не двигаясь. Потом встает, берет подмышку ставший толстым портфель и направляется к двери.

– Прощай, Барух.

– Прощайте, профессор. Может, еще свидимся.

– Может.

Ближе к вечеру подвода въезжает в село, волоча за собой мягкий хвост серой пыли. Белеют первые хаты. Вначале ред-

кие, дальше – тянутся двумя стройными рядами по обе стороны балки. Низкие, приземистые, с маленькими окнами, крытые, где соломой, а где и очеретом. Дворы огорожены плетнями или густыми кустарниками, а то и просто «колючкой», оставшейся после войны. Многие из них стоят без ворот, и лишь в некоторых въезд закрыт решеткой из жердей.

На выгоне, у гумна, после тяжелой работы щиплют высохшую траву усталые кони. В пыльных канавах край дороги гребутся грязные куры. Коровы, протяжно мыча, волокут с пастбища тяжелое вымя.

Подводу провожают любопытными взглядами. Слух о новом учителе разошелся по селу как запах жженой соломы. За подводой бежит орава босоногих ребятишек. Им не терпится поглядеть на учителя. Кузьме Авдоновичу неловко от такого неприкрытого интереса к его особе. Он старается не смотреть на корчащую ему рожицы мелкоту.

– Федор, кого везешь? – кричит, перевесившись полной грудью через плетень, дородная молодушка.

– Учителя!

– А куды везешь?

– До Курлычихи!

– Давай, заворачивай ко мне! Я женщина безмужняя.

– А председатель как же, Онысько?

– Был конь, да объездился!

– От бисова баба! – хохочет Федор. – Горилочкой не ба-луешься, учитель? – спрашивает с лукавинкой. – Анисья у

нас как раз по этой части. Гороховка у нее будь здоров! Что надо!

– Не употребляю, – слышится из-под пледа.

– Эх, скучный ты человек, учитель, – вздыхает разочаровано Федор, – ни выпить с тобой, ни в беседе душу отвести. У нас с людьми так нельзя. Не зlobят.

Прямо с улицы въезжают во двор.

– Тпру! – тянет на себя поводья Федор. Лошадь стопорится, перебирая на месте ногами. – Приехали! – Он привязывает конец вожжей к передку подводы и молодцевато спрыгивает на землю. – Тут и хвартироваться будешь, учитель.

Двор просторный, густо поросший спорышом и подорожником. Перед хатой, глядевшей на улицу двумя небольшими окнами, разбит палисадник. За хатой – хлев для скота и навес, где хранится всякая сельскохозяйственная утварь. Дальше – отгороженный от двора плетнем огород. Он под уклоном спускается к самой балке. Посреди огорода растет громадная, обильно плодоносящая груша дичка. От самой балки до плетня тянется полоса конопли.

– Мотря! – кричит на весь двор Федор.

Из хлева появляется молодница лет тридцати. На ней цветастая сатиновая юбка в сборку и шерстяная синяя кофта. Две густые косы закручены на затылке в тугий тяжелый узел.

– Чего кричишь, Федор?

– А свекруха где?

– Так нет ее. Ушла к бабе Ваське.

– Учителя принимай, Катерина!

Федор достает из подводы стянутый ремнями большой чемодан. Кузьма Авдонович топчется рядом, разминая после долгой дороги замлевшие ноги. Катерина идет к ним через двор. Высокая и статная.

– Ох, и баба! Волчья ягодка! – причмокивает Федор. – Вдовица. Мужа на войне потеряла. Так что не робей, учитель.

Кузьма Авдонович смущается, отводит от молодежи глаза.

– Гляди, как покраснел! Хоть под стреху. – Дразнит Федор. – Я гляжу, ты и по девкам не ходок.

Подходит Катерина. Подает учителю руку. Рука мягкая, сильная.

– Не слушайте этого белебеню, – улыбается, – его и в селе так прозвали. Федька Белебенья.

– Ну что ты, Катерина, трезвонишь... – обижается Федор.

– Да, ладно! А то ты сам не знаешь? И за глаза, и в глаза называют.

Во двор входит баба Мотря. Невысокая, худошавая, еще довольно юркая старушка. В доме всем заправляет она, хотя невестка не шибко ей подчиняется. За ворчливый нрав в селе ее прозвали Курлычихой.

– Что ты, Катерино, хвартيرانта во дворе держишь? – ворчит по обыкновению на невестку. – Приглашай в хату.

Катерина проворно подхватывает с земли чемодан.

– Оставьте! – машет Кузьма Авдонович. – Что вы? Я сам.

– Да, ладно! Мы, деревенские бабы, привычные, – улыбается Катерина и несет чемодан в дом. За ней с портфелем и узелком следует учитель.

Хата старая, небольшая, но опрятно выбеленная, с подведенной красной глиной призьбой. Нежилую ее часть занимают темные сени, заставленные скрынями, бутылками, дежками и бадьями. На жилой половине – хатына с печью, комната с двумя окнами на улицу и спальня с широкой лежанкой.

– Ось тут и располагайтесь, – Катерина вносит чемодан в спальню и кладет его на лежанку, – сейчас и вечерять будем.

Вечеряют в хатыне за широким столом с лоснящейся столешницей при свете керосинки. Катерина насыпает из чугунка в миски еще дымящийся кулеш. Режет большими ломтями серый липкий хлеб.

– Сходи, Катерино, в сени, – командует баба Мотря, – сала учителю отрежь.

– Вы же запретили, мамо, сало до Рождества трогать.

– Учителю можно! Вон худой-то какой! – Курлычиха достает из кармана фартука ключ и протягивает невестке.

Катерина берет ключ и выходит в сени. В сенях темно. Чиркает спичками, находит на уступе свечку и зажигает ее. Отмыкает сундук с салом, поднимает деревянную крышку. В темноте соблазнительно белеет сало. Катерина принюхивается к душистому чесночному запаху и сглатывает слюни. Отрезает от большого шмата кусочек. Немного поколебав-

шись, режет еще один. Второй кусок прячет в чугушке со смальцем. Завтра заберет. Другой такой возможности может и не быть. Ох, и скупая же свекровь! Но уже как-то прижились, притерлись друг к другу. После похоронки на мужа так и осталась жить в свекровином доме. Идти было некуда – сирота. Да и у Курлычихи кроме нее, Катерины, да внуков, Степки с Егоркой, никого не осталось.

Раньше всех в хате просыпались мухи. Две особенно въедливые ползают по лицу Кузьмы Авдоновича. Он недовольно морщится во сне от их назойливого щекотания. Ворочается с боку на бок. Просыпается. Открывает глаза и лежит, уставившись в потолок. В соседней комнате сопят Катериныны дети, кричат баба Мотря. Слышится шарканье босых ног по глиняному полу, женский шепот. Затем гремят в хатыне чугушки, бряцают печные заслонки, лязгают ведра. Завывает в печи, потрескивает и побулькивает. За окном сереет. Третий раз поют петухи. Кузьма Авдонович укрывается с головой и снова засыпает.

Второй раз просыпается от мычания коров. По селу гонят на пастбище череду. Катерина выгоняет со двора и свою корову, громко покрикивая на нее. Кузьма Авдонович садится на постели, свесив длинные худые ноги в льняных исподниках. Пора вставать. Он замечает на лежанке цинковый тазик с водой, заботливо приготовленный Катериной. Умывается. Надевает свой старенький коричневый костюм в тонкую по-

лоску.

В хатыне за столом завтракают дети, уминая за обе щеки вареный картофель в кожуре. Десятилетние мальчишки-близнецы, Егорка и Степка. Оба белобрысые и веснушчатые. Курлычиха месит в бадье тесто. В печи красноватым пламенем разгораются кизяки.

– Доброе утро! – стараясь прошмыгнуть к выходу, бросает на ходу Кузьма Авдонович.

– А снестать? – спрашивает баба Мотря.

– Спасибо, не хочется, – чувствует себя неловко учитель. – В какой стороне у вас школа?

– А сейчас детвора покажет, – разгибает спину Курлычиха, отдирая от рук тесто. – Ну-ка, живей! – прикрикивает на внуков. – Марш в школу!

Егорка со Степкой вылезают неохотно из-за стола, дожевывая на ходу. Подбирают валяющиеся в углу тощие портфели и бредут к выходу.

Баба Мотря продолжает возиться у печи. Шевелит кочережкой жар и ставит в печь формы с тестом. В сенях клацает дверная щеколда. Кто-то шаркает через сени. Курлычиха недовольно косится на дверь: «Кого, мол, принесло». Дверь отворяется и в пороге появляется грузная толстощекая соседка.

– Здоров, Мотря! – гостья опускает свое грузное тело на лавку.

– Шо ты, Васька, спозаранку? – ворчит Курлычиха.



– На учителя вашего пришла поглядеть.

– А чего на него глядеть? Картина шо ли?

– А может, я Химке своей пару присматриваю. Засиделась в девках. Так шо? Гарный учитель чи нет? В женихи годится моей Химке?

– Ни для нашей внучки, ни для бабыной сучки.

– Паршивый?

– Толку с него твоей Химке, как с попова наемника... дохлый... в чем только душа держится?

Курлычиха принимается вынимать из печи горячий хлеб. Соседка, принюхивается к свежему хлебному аромату и сглатывает слюну. На столе появляются одна за другой румяные буханки.

– Мотря, а ты ж мне полбуханки должна!

– Когда это я у тебя брала?

– Та ще на спасовку.

– Ну, может... – Курлычиха отрезает от буханки добрый ломоть и подает соседке.

– Ох, и пахнет! – баба Васька отщипывает кусочек и отправляет его в рот. Затем другой, третий...

– Ты что еще не снедала? – смотрит Курлычиха, как быстро уминает соседка ломоть хлеба.

– Та ще нет. Только борща с пирогами поела. Ось Макар с фермы вернется, и будем снедать. – Говорит баба Васька, дожевывая последний кусочек и смахивая с юбки крошки. – Ой, Мотря, – хлопает, спохватившись, себя по бокам сосед-

ка, – одолжи мне буханку, а то не с чем и поснедать будет.

Мелко дзинькает школьный звонок в крепкой руке бабы Дуни. Ее массивная фигура, как сухопутный броненосец, медленно и уверенно движется по школьному коридору. Кузьма Авдонович останавливается перед дверью класса и долго медлит, не решаясь войти. Страшно, как в первый раз. Дети. Что им говорить? Наконец входит. Проходит к столу и ставит на него свой потертый портфель.

– Я ваш новый учитель, зовут меня Кузьма Авдонович, буду преподавать вам биологию. – Катц садится за стол. – Есть ко мне вопросы?

Тишина. Приоткрыв рты, ребята с любопытством смотрят на нового учителя, переглядываясь между собой. Лохматые и босоногие, кое-как одетые, в перешитой из взрослой одежде.

– А правда, что при коммунизме можно будет что угодно брать и ничего за это не будет? – раздается из задней парты.

– Это кто же тебе такое сказал? – Катц находит глазами того, кто спрашивал.

– Историк наш, Илья Фомич...

– Так и сказал?

– Сказал, что все будет общее... бери, что хочешь за так...

– Ты, наверное, его не совсем правильно понял...

– А у него батька в тюрьме... за колхозное... – вмешивается в разговор веснушчатый подлесток с соседней парты. –

Вот он и ждет коммунизма, чтобы батьку выпустили.

– Это твой батька на моего настучал, – кричит все тот же с задней парты.

– Довольно, ребята, – Катц расстегивает портфель, достает и кладет на стол книги, – начнем наш урок.

Кузьма Авдонович возвращается со школы в мрачном расположении духа. Новая реальность огорчала его. О науке теперь можно навсегда забыть. Но это единственное, к чему он испытывал интерес. Других желаний и стремлений в его жизни не было.

Еще с сеней он слышит женские крики в хате.

– Это я неграмотная? – сердится Курлычиха.

– Вы, мамо, вы, – настаивает Катерина.

– Глянь ты на нее! Жисть прожила, а теперь дурна, значит...

– Та никто вас дурной не называет.

Катц норовит незаметно проскочить в свою комнату, но Катерина замечает его.

– Нехай учитель вам скажут, яка вы грамотная...

– Что случилось? – спрашивает Катц, понимая, что проскочить не удалось.

– Та ось кабанчика закололи. Мамо собираются завтра на станцию продавать, а сами рубля от червонца отличить не могут. Обманут ведь их на базаре. А меня отправить не хотят, боятся, что гроши припрячу...

– Я? Не отличу? Трясся твоей матери..., – дуется Курлычиха.

– Та делайте что хотите! – махает рукой Катерина.

На следующий день ни свет ни заря Курлычиха уже на станции. На базарную площадь, громыхая, въезжают подводы и возки, заваленные всякой всячиной из окрестных домохозяйств. Понурившись и засыпая на ходу, бредет за повозками пущенный на продажу скот. Площадь заполняется горами тыквы с капустой, грудями мешков с зерном и картофелем, рядами корзин и ведер. Базар оживляется. Между выставленными товарами снуют люди. Гомонят, торгуются, спорят.

– Людоньки, добрые! – зазывает народ Курлычиха, важно подперев кулаками бока. – Набегайте! Покупайте! Свежее мясо! Недорого отдам!

К подводе Курлычихи подходят люди. Обзирают разложенные на соломе куски мяса, щупают, нюхают, тыкают пальцами, ворочают со стороны в сторону.

– Берите, не сомневайтесь! Добрячий кабанчик! – суется Курлычиха.

– Почем, тетю? – спрашивает лысый в картузе.

– По червонцу будет...

– Взвесь вон тот кусок из задка...

Курлычиха подвешивает облюбованный кусок мяса на крючок пружинных весов и показывает покупателю.

– Сколько там? – интересуется лысый.

– Сам смотри...

– Три кило! Вот тебе три червонца...

– Погоди, голубчик, сдачу дам...

– Так у меня без сдачи...

– Бери! – тычет трешки. – У тебя без сдачи, а у меня со сдачей.

– Что-то ты, мать, не так насчитала...

– Я не так насчитала?! – сердится Курлычиха. – Людоньки! Не думайте, Мотря не дурна! Мотря умеет гроши считать!

Лысый в картузе пожимает плечами и уходит. Возле подводы Курлычихи начинают толпиться покупатели. Баба Мотря входит в азарт, наугад отвешивает куски мяса, не пересчитывая, берет деньги, и также без счета, как вздумается, дает сдачу. На подводе почти не остается убоины, но в карманах Курлычихи пусто.

– Ой, людоньки, – Мотря достает из кармана последнюю трешку, – не становитесь больше в очередь! Сдачу нечем уже давать!

Вечереет. В хатыне за длинным столом вечеряют Егорка и Степка. Катерина возится с чугунками у плиты. Кузьма Авдонович, чтобы не жечь в спальне лишнюю свечу, уместился с книгой на лавке возле печи.

– Шо вы в борще уши мочите? – бранит детей Катерина. –

Наелись?! Так марш за книжки!

Дети нехотя вылезают из-за стола и, покосившись на учителя, послушно уходят в комнату.

Во дворе тарахтит подвода. Катерина бросается к окну.

– Свекруха приехала!

В хату входит хмурая Курлычиха и, не сказав никому ни слова, садится на лавку.

– Шо вы, мамо, как перекисшее тесто? – чувствует недоброе Катерина.

Курлычиха тяжело вздыхает и виновато косится на невестку.

– Распродались? – допытывается невестка.

– Та распродалась...

– А гроши где?

– Нема... ни грошей, ни конхветив...

– Как нема?

– Та ось так... нема и все...

– Украли?

– Та нет... не украли...

– Потеряли?

– Нет, – Курлычиха мотает головой.

– Так, где же тогда гроши?

– Та нема... не знаю, как оно так получилось...

– Ой, лихонько! Та хиба я вам не говорила? Что ж теперь?

За что детям одежду справить? Хоть под греблю ложись!

В субботний день Катерина сама собирается на базар. Завтракая, Катц наблюдает, как она бережно укладывает в две большие корзины всякую домашнюю снедь. Курлычиха, по обыкновению, возится у печи.

– В область поеду, там подороже продам, – говорит Катерина свекрухе, – доставайте, мамо, сало, раз с мясом опростоволосились...

Курлычиха недовольно ворчит, но идет в сени. Долго возится в сенях, гремя крышками сундуков и бряцая замками. Возвращается с тонкими кусками сала.

– Ох, и скупая вы, мамо? Одну пузанину выбрали. – Катерина с недовольным видом укладывает сало в корзину. – Ну, вроде бы все взяла. – Она берет в руки корзины, пробуя их на вес. Они тяжелые.

– Я с вами поеду, Катя, – Катц поднимается из-за стола и берет одну корзину, – мне тоже в область надо.

Гудят поезда. Сбрасывая скорость, мимо станции проходят составы. Кузьма Авдонович с Катериной провожают взглядом грохочущие вагоны.

– Сейчас пойдет наш товарняк, – говорит Катерина, – здесь он притормозит. Увидите углярку с площадкой и цепляйтесь. Я подам корзины.

– Зачем такие сложности? – пытается возразить Катц. – Может,ждемся пассажирского?

– До вечера можем прождать, они здесь редко останавли-

ваются.

Выпустив с шумом пар, мимо проползает паровоз. Скрежещут тормоза. Медленно тянется стена товарных вагонов. Катц с напряжением всматривается в мелькающие полувагоны, стараясь не прозевать тормозную площадку. Увидев подножку, он, пригибаясь, приближается к составу.

– Схватывайтесь! – кричит Катерина.

Схватившись за поручни, Катц напрягает все силы, подтягивает к подножке колени, становится на ступени ногами и втаскивает свое худое длинное тело на площадку. Затем принимает от Катерины корзины и подает ей руку. Раздается пронзительный свисток, состав набирает скорость. Покачиваются и лязгают буферами неповоротливые вагоны.

– Ни разу еще так не ездил, – ежится Катц, поднимая воротник плаща.

– А мы вот только так и ездим, – улыбается Катерина. – А вы в область по делам или родню проведать?

– Нет у меня ни родни, ни дел, – признается Катц.

– Совсем никого?

– Совсем. Погибли еще в сорок первом. Жена и двое сыновей. Немцы разбомбили состав с эвакуированными. Сейчас моим мальчикам было бы столько же, сколько и вашим.

Катц замолкает и смотрит на скучные бескрайние поля. Молчит и Катерина, задумавшись под мерный стук колес.

Поезд заходит на станцию, предупреждающе шипя и вы-



пуская пар. Минуя вокзальные постройку, уходит на запасные пути, втискиваясь в пространство между двумя стоящими составами. Катерина и Катц спрыгивают с платформы и идут вдоль колеи. В просвете между вагонами соседнего товарняка Катц замечает своего ассистента с вещевым мешком за спиной.

– Барух! – окликает Кузьма Авдонович.

– Катц! – поворачивает голову Барух. Он ныряет под вагон и выныривает с другой стороны. – Вот и свиделись, профессор...

– Уезжаешь?

– Уезжаю.

– И куда?

– Хочу до Палестины добраться...

– Дали разрешение на выезд?

– Отказали. Может, повезет нелегально перейти границу.

– А если не повезет?

– Сошлют...

– Может, не стоит тогда...?

– Хрен редьки не слаще... Все равно сошлют... за тунеядство. Я ведь теперь отказник, а с таким клеймом все двери закрыты. Не дают нам, евреям, спокойно жить. Все мы тут делаем не так. Помните профессора Гутмановича? Так сослали его за тунеядство. Когда обратился за разрешением на выезд, уволили, не давали нигде работать, а потом сослали. Так что, если уж ссылка, то хоть за дело.

– Будь осторожен, Барух.

– Прощайте профессор.

Они крепко обнимаются, и Барух снова ныряет под вагон, исчезая в белых клубах пара.

В хате Курлычихи садятся вечерять. Катерина подает на стол, гремя глиняными мисками. Каждый раз, как она двигается возле Кузьмы Авдоновича, ненароком касаясь его юбкой, лицо учителя покрывается краской. Он искоса поглядывает на Курлычиху, не замечает ли та его смущения. Но баба Мотря, жуя хлеб, занята своими заботами.

– Опять Васькины куры гребутся в нашем огороде, – ворчит Курлычиха, – таких ям нарыли... говорила ей, что потравлю...

– Та оставьте вы, мамо, пусть роют, все равно весной пахать, – вступается за кур Катерина. Она словно тоже не замечает неловкости учителя, но ее слова, обращенные к нему, гладят его по душе. – Ешьте, Кузьма Авдонович, гарный кулеш сегодня получился... со смальцем...

С улицы стучат в окно.

– Выйди, Катерино, посмотри, кого там принесло, – всматривается в темное стекло баба Мотря.

Катерина выходит во двор.

– Чего тебе, Онысько? – узнает в темноте дородную фигуру самогонщицы Анисьи.

– Я к вашему стояльцу. Покличь учителя.

– С какой радости? – хмурится Катерина.

– Дело у меня к нему есть...

– Ох, знаю я твои дела, Онысько! Или споишь, или голову заморочишь.

– Та шо ты там знаешь!? Дело, говорю, у меня. Зови!

Катерина возвращается в хату, и, не глядя на Кузьму Авдоновича, начинает сердито греметь чугунами.

– Выйдите, учитель, – говорит она нехотя, – Оныська кличет.

– И что этой срамнице нужно от учителя? – вмешивается баба Мотря.

– Не знаю! – злится Катерина. – Дело, говорит, у нее какое-то.

– Знамо какое, – ворчит Курлычиха, – приваживать своим окаянным зельем мужиков. Пол деревни извела. А кому пожалуешься? Если сам председатель захаживает среди бела дня. Срам-то какой.

Катц накидывает свой плащ и выходит на порог. Полная луна освещает двор. От тернового куста сбоку палисадника отделяется женская фигура и стремительно приближается к порогу.

– Пройдемся до ставка? – Анисья по-свойски берет учителя под руку.

– Зачем? – сконфуженно выдергивает руку Катц.

– Так дело свое расскажу.

– Можно и здесь поговорить...

– Ну, ладно, – дует губы Анисья, – здесь так здесь. Вот надумала в город поехать учиться. Надоело за трудодни в поле горбатиться. Жизни городской хочу. Вольной.

– Учиться, конечно, похвально, но только я чем могу помочь?

– Так вы же, говорят, шибко ученый. Может, чего присоветуете? Книжки там, какие нужно.

– А учиться на кого хотите?

– Та хотя бы на учительшу...

– Хорошо, подберу нужные книги...

– Так я вас завтра жду? – радуется Анисья, – вечером после школы.

– Постараюсь, – обещает Катц.

– Глядите же, я буду ждать!

Вечереет. Опершись на плетень, Анисья звучно щелкает семечки, сплевывая шелуху на землю. Выглядывает учителя. По этому случаю принарядилась в цветастое крепдешиновое платье и крупно завила крашенные рыжие волосы.

– Куды это ты так вырядилась, как на Великдень? – кричит с подводы проезжающий мимо двора Федор.

– По яркам собак гонять, – огрызается Анисья.

– А в поле чего не была? – не отстает Федор.

– Отстань от меня, дурак с трудоднями.

На пыльной дороге появляется длинная фигура Катца. Анисья смахивает с высокой груди лузгу и взбивает локоны.

– Вечер добрый, учитель! – улыбается, поправляя складки платья.

– Вот! Принес! – Катц достает из портфеля стопку книг. – Все, что нашел в школьной библиотеке.

– Так чего ж вы там стоите? – Анисья отворяет калитку. – Входите до хаты.

Катц топчется на месте, не решаясь войти и в то же время, боясь обидеть хозяйку отказом. Но все-таки после недолгих колебаний входит. Анисья расстилает белую скатерть и ставит на стол миску с пирогами. Приносит из сеней бутылку терновки.

– Вот тут я вам подобрал... – Катц раскладывает на столе принесенные книги.

– Да леший с ними, с книгами, – Анисья наливает в чарку густую терновую наливку, – вот лучше терновочки отведайте.

– А как же... – приходит в замешательство Кузьма Авднович.

– Ученый человек, а не догадливый, – смеется Анисья, – книги ведь так, для предлогу... знакомство завести. Ну, какая из меня учительша? А вот в город и взаправду хочу. В театры ходить...

– Ну, знаете ли! – возмущается Катц, поднимаясь со стула.

– А ты не спеши, учитель, – Анисья кладет ему руки на плечи, мягко опуская его снова на стул, – может, сойдемся, слобимся, да и увезешь меня в город.

– Вот, значит, что вы, Анисья, надумали...

– А почему бы и нет? Я женщина видная. Аль не нравлюсь?

– Это невозможно... я не могу... – волнуется Катц.

– Что так? Небось, кто другая на примете?

– Да что вы все не то говорите...

– А я знаю, что говорю! – лицо Анисьи делается недобрым. – Катька охмурила! Только зачем она тебе с детьми? А я бездетная, свободная!

– Пойду я, – Катц собирает со стола книги и кладет в портфель.

– Иди, учитель, – сердится Анисья, – только еще посмотрим, чья возьмет.

Октябрьским утром от колхозного амбара к крестьянским подворьям потянулись тяжелые подводы с зерном, полагавшимся на трудодни. На утоптанной площадке между фермой и амбаром выстроилась очередь подвод. В ожидании дымят самокрутками мужики, деловито восседая на возах, грызут семечки бабы. Нетерпеливо топчутся лошади, переминаясь с ноги на ногу.

Над воротами зернохранилища ветер раздувает красное полотнище с выведенным огромными буквами призывом: «Все на борьбу с хищениями социалистической собственности!». Внутри амбара колхозники насыпают ведрами в мешки пшеницу. Кладовщик Гришка передвигает на больших

амбарных весах гири-бегунки, делая пометки в толстом журнале и постоянно слюнявя химический карандаш.

– Сколько на трудодень дают? – интересуется Катерина у возчика встречной подводы, подъезжая к току.

– По полтора кило, – отвечает тот, придерживая лошадь, чтобы разминуться с Катериной повозкой.

– Не густо, – качает головой Катерина, – в этом году больше зерна уродило, чем в прошлом, а норму не увеличили, – говорит она сидящему в подводе Кузьме Авдоновичу, – так что и сама бы управилась. Зря только вас беспокоила.

– Ну, что вы Катя! – смущается Катц. – Вам бы не мешки тягать. Вам бы в город учиться.

– Да куда уж мне теперь. До войны на агрономию поступала, но только год и отучилась. А нынче не до учебы. Детей поднимать надо, без отца растут.

Появление Катерины вместе с Катцем вызвало на току пересуды.

– Ты гляди-ка, – толкает в бок свою соседку по подводе Анисья, – с учителем приехала бесстыжая.

– Все вьется кругом нее и вьется, как горох вокруг кукурузы, – хихикает соседка, – и в огород за ней, и к колодцу...

– А может шуры-муры у них, – вмешивается баба с соседнего воза.

– Слышала чего, али просто языком мелишь? – злится Анисья.

– Может и слышала...

Подводы одна за другой загружаются и отъезжают. Подходит очередь Катерины. Подъехав к весовой, она останавливает лошадь и достает из подводы пустые мешки.

– Здоров, Гриша! – здоровается с кладовщиком. – Сколько мне там получать?

– Четыре центнера, – смотрит в амбарный журнал Гришка. – Как там племяши? – интересуется у Катерины, не поднимая от журнала глаз.

– А ты бы зашел, братушка, проведал.

– Как-то зайду.

– Заходи. – Разворачивает мешок и дает Катцу. – Держите! Я буду насыпать.

Наполнив все мешки, Катерина с Катцем перетаскиваю их на весы.

– Ну, что? – спрашивает у кладовщика. – Сколько там?

– На семь килограмм больше, – звякает гирями Гриша, – ну, да ладно. Пусть будет, сестра. Забирай!

– Гриш, накинь еще пару чувалов по-родственному, – просит Катерина, – продам, одежду детям куплю. Без грошей остались. Свекруха с кабанчиком-то проторговалась.

– Да ты что, Катька! – шепчет испугано кладовщик. – Сама знаешь, что за такое бывает.

– Так никто не узнает. Только пару чувальчиков. Воробьи за зиму тут у тебя больше склюют.

– А он не сдаст? – косится на Катца.

– Не сдаст, – уверяет Катерина.



Катцу становится обидно, что ему не доверяют. Отвернувшись, он идет к подводе.

– Зря хорошего человека обидел, – журит брата Катерина. – Ну, так что? Дашь зерно?

– Ладно! Насыпай! – нехотя соглашается Гришка. – Только, если что, то я ничего не видел.

Груженная мешками с зерном подвода, скрепя осями, въезжает во двор и подкатывает вплотную к хлеву. Застопорив лошадь, Катерина спрыгивает на землю. Нужно поторопиться спрятать лишние мешки. Но едва успевает открыть тяжелую дверь хлева, из-за хаты появляется баба Васька.

– Управились? А я за подводой.

– Сейчас разгрузимся, и пригоню вам подводу.

– Та я подожду. – Подходит все ближе к подводе соседка. – Сколько получили зерна?

– Оно вам надо? Сколько наработала, столько и получила, – сердится Катерина.

– А мы с Макаром еще не получали. Сейчас с фермы придет и поедем.

Забрав подводу у Катерины, баба Васька с Макаром едут на ток за зерном. На току возле весовой на мешках сидит хмурая Анисья.

– А ты чего здесь расселась? – спрашивает ее баба Васька. – Манька еще в обед зерно привезла. Вы вроде одной подводой ехали.

– Полаялись мы с Манькой, – жалуется Анисья. – Довезешь мои три мешка, Василиса Ксенофоновна?

– Та куда ж тебя денешь! Загружай!

Анисья закидывает мешки в повозку и усаживается на них сверху. Грузеная подвода выезжает с току, прогнувшись под весом и лениво поскрипывая.

– А что на трудодни так мало получила, Онысько? – интересуется баба Васька. – Вон Катерина десять мешков привезла.

– Десять говоришь?

– Сама видела.

– Ничего не спутала? У Гришки в журнале восемь записано.

– Я хоть и не грамотная, а считать умею. Говорю тебе десять.

– Ну, вот теперь и посмотрим, чья возьмет, – лукаво щурится Анисья, что-то недоброе замышляя в уме.

– Ты это про шо? – косится на нее баба Васька.

– Та так, ни про шо.

Рано утром Кузьму Авдоновича разбудили незнакомые голоса, доносящиеся с улицы. Он приподнимается на кровати и глядит в окно. Видит во дворе участкового милиционера и рядом с ним двоих оперуполномоченных в синих лампахах и яловых сапогах с высокими голенищами. Растерянная Катерина испуганно прижимается к дверному косяку хлева.

Катц торопливо одевается, путаясь в штанинах, и выскакивает во двор.

– Ну, что, хозяйка, сама покажешь, где краденое зерно прячешь, – говорит участковый, – или искать будем?

– Так я же вам уже показала, что получила на трудодни, – чуть не плачет Катерина, – сами же видели восемь мешков.

– Видели, а где еще два спрятала?

– Так нет.

– А если найдем?

Начинается обыск. Ищут в коровнике, ковыряя палками в яслях для сена. Мычит испуганно корова, тычась рогами в стойло. Переходят в курятник, оттуда кудахча, выскакивают взволнованные куры. Лезут на чердак, ворошат сеновал, переворачивают все вверх дном в сенах, гремя крышками сундуков. Ничего не обнаружив, снова выходят во двор.

– А это что? – участковый показывает на небольшой стог сена под грушей.

– Се-е-е-но..., – еле шевелит побледневшими губами Катерина.

– Вижу, что сено. А что ж не убрали на сеновал?

– Не успели...

– Вот сейчас и поглядим, – ширяет в стог острой палкой оперуполномоченный. Из стога сыплется зерно. – Ну, и что теперь скажешь? Чего молчишь?

– Это я спрятал, – вырывается у Катца, – украл и спрятал.

– Кто такой? – хмурится человек в лампасах.

– Учитель. Здесь стою на квартире.

– Фамилия. Имя.

– Кузьма Авдонович Катц.

– Жид, что ли? Ну, собирайся, с нами поедешь...

Катц вытаскивает из-под кровати свой старый чемодан.

Извлекает из него стопку аккуратно сложенного белья и перекладывает в портфель. Со дна достает кипу бумаг, несколько секунд смотрит на них в нерешительности, потом идет в хатыну и бросает бумаги в печку.

– Зачем? – Катерина сидит около печи, опустив голову и бессильно сложив на коленях руки.

– Пусть горят! Какой с них толк? – отвечает Катц, пошевелив кочережкой в печи.

– Зачем вы взяли на себя мою вину? Так не правильно.

Нужно сказать им правду.

– Нет, Катя, – Катц садится на корточки, берет Катерину за руки и смотрит ей в глаза, – тебе детей поднимать, а я человек уже и без того пропащий...

В окно стучат.

– Поживее там! – кричит с улицы участковый. – Не задерживайся!

– Прощай, Катя! – Катц поднимается на ноги, берет свой портфель и направляется к выходу.

– Погодите! – Катерина сует ему в руки сверток. – Здесь еда. – Утерев накатившиеся слезы, целует учителя в обе щеки. – Храни вас Бог!

Солнце уже не греет опустевшие поля. Тронутые первой изморозью они кажутся обескровленными и бездыханными. Трясаясь в кузове полуторки, Катц смотрит неподвижным взглядом в бескрайнюю голую степь. Есть ли где за этими горизонтами место, куда бы он устремился с радостью? Барух мечтал о Палестине. А он, Катц, о чем мечтал? У него не было никаких стремлений. Он нес в себе темную пустоту, вытеснившую всякие желания и страсти. Ему хотелось бы желать, пускай чего-то невозможного, несбыточного, требовать от жизни незаслуженного, воцелеть запретного. Дорого бы дал за всякое хотение, но в его сухостойной душе, как в бесплодном чреве, не зарождалось ни одного желания. Даже в его бесформенном чувстве к Катерине, возникшем скорее как благодарность за ласковое слово, не было никакого желания. Он и в помыслах не желал обладать ею. Не из чувства любви или жалости взял на себя ее вину. Нет. Здесь не было высокого мотива. Просто у нее было то, чего не было у него – желание жить, жить для кого-то и для чего-то.

Заглушая шум мотора, протяжно и нудно воет в степи ветер. Катц ежась от холода, расстегивает портфель. В портфеле аккуратной стопкой сложены беленькие носовые платки.

«Я давно уже умер, но продолжаю жить, как сухое дерево, в котором давно не бродит сок. Зачем цепляться мертвыми корнями за почву, если ничего уже не можешь из нее высосать? Ждать, пока тебя тюкнут топором или сам повалишься

от ветра? Но это невыносимо...».

Закоченевшими пальцами он достает из портфеля платки и связывает их концы между собой тугими узелками. Подергав, пробуя на прочность связанную из платков веревку, сует ее в карман пальто. Впереди виднеется небольшой лесок. Катц стучит кулаком по крыше машины.

– Чего тебе? – высовывается из окна оперуполномоченный.

– Мне бы по нужде, – старается перекричать гул мотора Катц.

Въезжая в лесок, машина останавливается.

– Трофим, – говорит водителю оперуполномоченный, – проследи за ним.

– Да куда он денется, – тому не хочется вылезать из машины на холод.

– Проследи, говорю. Мало ли чего...

Катц углубляется в лес, плутая между деревьями. Приставленный к нему Трофим идет следом на расстоянии.

– Эй, не иди далеко, – теряет терпение сопровождающий.

– А вы отвернитесь, – кричит ему Катц.

– Не положено.

– Я так не могу.

– Ладно, – соглашается Трофим, – только быстрее давай там. Холодно.

Воспользовавшись моментом, когда сопровождающий отвернулся к дереву справить свою нужду, Катц достает из кар-

мана веревку из платков и вяжет на ней петлю. Другой конец привязывает к первому попавшемуся суку и сует голову в петлю. Ну, вот и все! Крепко зажмуривает глаза и поджигает ноги. Раздается сухой треск. Сук обламывается и Катц с уханьем падает на землю. С веток срываются стайки потревоженного воронья и с пронзительным криком мечутся над голыми кронами деревьев. На шум прибегает Трофим, застегивая на ходу ремень.

– Ах ты, жидовская морда! Повеситься хотел! А ну-ка подымайся!

Тяжелый начищенный сапог больно врезается Катцу в бок. Он лежит на подмерзлой земле вниз лицом, не открывая глаз. В низко плывущих серых тучах теряется недовольный крик воронья.